

**ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ**



**ВЕНОК НА МОГИЛУ  
НЕИЗВЕСТНОГО  
СОЛДАТА  
ИМПЕРАТОРСКОЙ  
РОССИЙСКОЙ АРМИИ**

В Париже на площади Etoile, где правильной звездой сходятся двенадцать широких, красивых улиц, стоит Триумфальная арка. Под ее высоким сводом покоится в могиле "неизвестный солдат" Французской Армии.

Чье тело, после боевой грозы, мирно упокоившееся в изрытой снарядами, залитой человеческой кровью, пахнувшей порохом земле, торжественно выкопали и с почетом похоронили в центре города-великана. И лежит оно в шуме и грохоте в центре подземных и надземных дорог, в тонком шелесте резиновых шин бесчисленных автомобилей, среди суеты праздной, веселой парижской жизни, неммым напоминанием подвигов Французской Армии и жертв французского народа.

На могилу возлагают венки. Зелено-пестрой, громадной клумбой цветов и листьев высятся они среди неумолкающего шума и грохота двенадцати улиц.

Всякий раз, как я проходил мимо нее, или читал, что то Балдвин от имени английского народа, то Муссолини от итальянцев, то генерал Богаевский возлагали на нее венки, мне вспоминались другие могилы, где лежали не неизвестные мне солдаты, а солдаты, хорошо мне знакомые, те, кто был мне дорог, кого я любил и кого видел, как он умирал.

И вижу я пустынное голое шоссе между Тлусте и Залещиками, и справа помню точно, шоссе входит там в выемку и край его приходится на высоту плеч человека, сидящего на лошади, стоит низкий, почти равноплечный крест, сделанный из двух тонких дубовых жердей. На их скрещении кора снята и плоско застругана. Там химическим карандашом написано... Дожди и снега смыли почти все написанное и видно только:

..."Казак 10-го Донского казачьего, генерала Луковкина полка... 4-ой сотни... за Веру, Царя и Отечество живот свой положивший... марта 1915 года"...

Я его знал. Это мой казак... В первые бои под Залещиками он был убит у Жезавы. Потом были еще и еще бои под Залещиками. Я проезжал мимо этой могилы в мае 1915 года. Крест покосился и уже мало походил на крест... Надпись выцвела и стерлась. Для всех--это была могила неизвестного солдата, мне же она была известна и издали приветствовала меня дорогими словами: "За Веру, Царя и Отечество"...

Теперь... там, вероятно, и могилы не осталось... как не осталось там ни Веры, ни Царя, ни Отечества... Пустое место. Там Польская республика, и что ей за дело до бравого станичника, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившего? Обвалился крест, упали жерди в придорожную канаву и на оставшейся могиле бурно разросся бурьян. Синий, звездочками, василек; высокая, пучком, белая ромашка; да алые, на пухом поросших гибких стеблях, маки цветут на шоссе. Три цветка: белый, синий и красный поросли из тела этого неизвестного солдата. Полевой жаворонок прилетит иногда из небесной выси, камнем упадет на цепкие травы и коротко прощепечет недопетую песнь. Быть может, он скажет прохожим:

Как жил-был казак далеко па чужбине,  
И помнил про Дон на чужой стороне...

Еще и другие вспоминаются мне могилы... За селом Белъская Воля, в Польше, между реками Стырью и Стоходом, южнее Пинска, севернее Луцка, на песчаном бугре конно-саперы под руководством есаула Зимина (1-го Волгского казачьего полка Терского казачьего войска) построили ограду. Резанные из цветных темных еловых и белых березовых сучьев красивые ворота аркой ведут за ограду. Там в стройном порядке выровненные, в затылок и рядами, лежат солдаты Нижне-Днепровского полка, Донские, Кубанские и Терские казаки 2-ой казачьей сводной дивизии, убитые в боях под Вулькой Галузийской 26--30 мая 1916 года -- это когда был Луцкий прорыв генерала Каледина.

На воротах, надпись из сучьев:

"Воины благочестивые, славой и честью венчаные".

Тогда думали об этом. Тогда можно было об этом думать. Был Бог... Был Царь... Была Россия... И еще одна могила. На склонах Агридагского хребта за Сарыкамышем, среди камней горных ущелий, лежит тело казака 1-го Сибирского Ермака Тимофеевича полка, Пороха. Того самого Пороха, у которого было веселое, загорелое и круглое лицо, ясные карие и чистые глаза, ровные и белые зубы.

В течение почти трех лет ежедневно утром он встречал меня радостной улыбкой и говорил: "Так что, Ваше Высокоблагородие, лошади, слава Богу, здоровы", а иногда прибавлял: "Только Ванда чего-й-то скушная стоит, овес не ела и воды совсем чуток пила. Однако температуру мерили -- нормальная"... С ним, Порохом, я изъездил все Семиречье, и он добывал барана на ужин в пустыне, где, казалось, кругом на сотни верст никого не было.

- У знакомого киргиза достал, Таймыр он мне... Вечером у палатки я слушал, как он быстро говорил с кем-то по-киргизски. Носовые, неясные звуки сплетались в гирлянду слов, как песня. На песке, поджав ноги, сидели киргизы и с ними мой Порох. Он убит в ноябре 1914 года в конной атаке под Сарыкамышем. Тогда 1-ый Сибирский Ермака Тимофеевича полк атаковал батальон турецкой пехоты, изрубил его и взял знамя. Во имя всех их..., - а их миллионы неизвестных - на их могилу мне хотелось бы возложить мой скромный венок воспоминаний... Им - честью и славою венчанным.

\*\*\*

Да стоит ли?..

- Разве не помните вы, как густой толпой стояли они, 4-го мая 1917 на станции Видибор, кричали, плевались подсолнухами и требовали вашей смерти? У них на затылках были смятые фуражки и папахи, на лоб выбились клочья нечистых волос, на рубашках алели банты, кокарды были залиты красными чернилами и почти все они были без погон.

- Разве не помните вы, как в этот час трусливо прятались по вагонам, не смея выручить своего начальника, сотни 17 Донского генерала Бакланова полка, те, чьи братья лежат так тихо и спокойно у селения Бельская Воля, славой и честью венчанные?

- Разве не помните вы, что они изменили присяге, они поносили Царя, они предали врагу - немцам - Родину и они подчинились жидам?

Нет... Не об этих будет моя речь. Я хочу сказать о тех, кто свято помогал неизвестному Французскому солдату тихо и честно лечь в шумную могилу на площади Etoile в Париже.

Я хочу сказать, как сражались, жили, томились в плену и как умирали солдаты Русской Императорской Армии. Мои венок будет на могилу неизвестного Русского солдата, за Веру, Царя и Отечество живот свой на бранях положившего.

Ибо тогда умели умирать.

Ибо тогда смерть честью венчала.

## 1. КАК ОНИ УМИРАЛИ

Мой первый убитый... Это было 1 августа 1914 года на Австрийской границе, на шоссе между Томашевым и Равой Русской. Было яркое солнечное утро. В густом мешанном лесу, где трепетали солнечные пятна на мху и вереске, пахло смолой и грибами, часто трещали ружейные выстрелы. Посвистывали пули, протяжно пели песнь смерти и от их невидимого присутствия появился дурной вкус во рту и в голове путались мысли.

Я стоял за деревьями. Впереди редкая лежала цепь. Казаки, крадучись, подавались вперед. Из густой заросли вдруг появились два казака. Они несли за голову и за ноги третьего.

- Кто это? - спросил я.

- Урядник Еремин, Ваше Высокоблагородие,- бодро ответил передний, неловко державший рукой с висевшей на ней винтовкой, голову раненого Еремина. Я подошел. Низ зеленовато-серой рубахи был залит кровью. Бледное лицо, обросшее жидкой, молодой русой бородой, было спокойно. Из полуоткрытого рта иногда, когда казаки спотыкались на кочках, вырывались тихие стоны.

- Братцы, - простонал он, - бросьте... Не носите... Не мучьте... Дайте помереть спокойно.

- Ничего, Еремин, - сказал я, - потерпи. Бог даст, жив будешь. Раненый поднял голову. Синеватые глаза с удивительной кротостью уставились на меня. Тихая улыбка стянула осунувшиеся похудевшие щеки.

- Нет, Ваше Высокоблагородие, - тихо сказал Еремин - Знаю я.. Куды-ж. В живот ведь. Понимаю.. Отпишите, Ваше Высокоблагородие, отцу и матери, что... честно... нелицемерно... без

страха... Он закрыл глаза. Его понесли дальше. На другое утро его похоронили на Томашовском кладбище у самой церкви. На его могиле поставили хороший тесаный крест. Казаки поставили.

Я не был на его похоронах. Австрийцы наступали на Томашов. На Зверижинецкой дороге был бой. Некогда было хоронить мертвых.

Потом их были сотни, тысячи, миллионы. Они устилали могилами поля Восточной Пруссии, Польши, Галиции и Буковины. Они умирали в Карпатских горах, у границы Венгрии, они гибли в Румынии и Малой Азии, они умирали в чужой им Франции.

За Веру, Царя и Отечество.

Нам, солдатам, их смерть была мало видна. Мы сами в эти часы были объаты ее крыльями и многого не видели из того, что видели другие, кому доставалась ужасная, тяжелая доля провожать их в вечный покой... Сестры милосердия, санитары, фельдшера, врачи, священники.

И потому я расскажу о их смерти, о их переживаниях со слов одной сестры милосердия.

\*\*\*

Я не буду ее называть. Те, кто ее знает, а в Императорской Армии ее знали десятки тысяч героев, - ее узнают. Тем, кто ее не знает, ее имя безразлично. Сколько раненых прошло через ее руки, сколько солдат умерло на ее руках, и от скольких она слышала последние слова, приняла последнюю земную волю!..

В бою под Холмом к ней принесли ее убитого жениха...

Она была русская, вся соткана из горячей веры в Бога, любви к Царю и Родине. И умела она понимать все это свято. В ней осталась одна мечта - отдать свою душу Царю, Вере и Отечеству. И отсюда зажегся в ней страстный пламень, который дал ей силу выносить вид нечеловеческих мук, страданий и смерти. Она искала умирающих. Она говорила им, что могла подсказать ей ее исстрадавшаяся душа. Стала она от того простая, как прост русский крестьянин. Научилась понимать его. И он ей поверил. Он открыл ей душу и стала эта душа перед нею в ярком свете чистоты и подвига, истинно, славою и честью венчанная. Она видела, как умирали русские солдаты, вспоминая деревню свою, близких своих. Ей казалось, что она жила с ними предсмертными переживаниями, и много раз с ними умирала. Она поняла в эти великие минуты умираний, что "нет смерти, но есть жизнь вечная". И смерть на войне - не смерть, а выполнение своего первого и главного долга перед Родиной.

В полутемной комнате чужого немецкого города прерывающимся голосом рассказывала она мне про Русских солдат, и слезы непрерывно капали на бумагу, на которой я записывал ее слова.

Теперь, когда поругано имя Государево, когда наглые, жадные, грязные святотатственные руки роются в дневниках Государя, читают про Его интимные, семейные переживания, и наглый хам покровительственно похлопывает Его по плечу и аттестует как пустого молодого человека, влюбленного в свою невесту, как хорошего семьянина, но не государственного деятеля, быть может, будет уместно и своевременно сказать, чем Он был для тех, кто умирал за Него. Для тех миллионов "неизвестных солдат", что погибали в боях, для тех простых русских, что и по сей час живут в гонимой, истерзанной Родине нашей. Пусть из страшной темени лжи, клеветы и лакейского хихиканья людей раздастся голос мертвых и скажет нам правду о том, что такое Россия, ее Вера православная и ее Богом венчаный Царь.

\*\*\*

Шли страшные бои под Ломжей. Гвардейская пехота сгорала в них, как сгорает солома, охапками бросаемая в костер. перевязочные пункты и лазареты были переполнены ранеными, и врачи не успевали перевязывать и делать необходимые операции. Отбирали тех, кому стоило сделать, то есть, у кого была надежда на выздоровление, и бросал" остальных умирать от ран за невозможностью всем помочь.

Той сестре, о которой я писал, было поручено из палаты, где лежали 120 тяжело раненных, отобрать пятерых и доставить их в операционную. Сестра приходила с носилкам", отбирала тех, в ком более прочно теплилась жизнь, у кого не так страшны были раны, указывала его санитарам, и его

уносили. Тихо, со скорбным лицом и глазами, переполненными слезами, скользила она между постелей из соломы, где лежали исковерканные обрубки человеческого мяса, где слышались стоны, предсмертные хрипы я откуда следили за нею большие глаза умирающих, уже видящие иной мир. Ни стоны, ни ропота, ни жалобы... А ведь тут шла своеобразная "очередь" на жизнь и выздоровление... Жребием было облегчение невыносимых страданий.

И всякий раз, как входила сестра с санитарями, ее взор ловил страдающими глазами молодой, бравый, черноусый красавец унтер-офицер Лейб-Гвардии Семеновского полка. Он был очень тяжело ранен в живот. Операция была бесполезна, и сестра проходила мимо него, ища других.

- Сестрица...меня...- шептал он и искал глазами ее глаза.

- Сестрица... милая...- он ловил руками края ее платья и тоска была в его темных красивых глазах. Не выдержало сердце сестры. Она отобрала пятерых и умолила врача взять еще одного - шестого. Шестым был этот унтер-офицер. Его оперировали. Когда его сняли со стола и положили на койку, он кончался. Сестра села подле его. Темное загорелое лицо его просветлело. Мысль стала ясная, в глазах была кротость.

- Сестрица, спасибо вам, что помогли мне умереть тихо, как следует. Дома у меня жена осталась и трое детей. Бог не оставит их... Сестрица, так хочется жить... Хочу еще раз повидать их, как они без меня справляются. И знаю, что нельзя... Жить хочу, сестрица, но так отрадно мне жизнь свою за Веру, Царя и Отечество положить.

- Григорий, - сказала сестра, - я принесу тебе икону. Помолись. Тебе легче станет.

- Мне и так легко, сестрица. Сестра принесла икону, раненый перекрестился, вздохнул едва слышно и прошептал:

- Хотелось бы семью повидать. Рад за Веру, Царя и Отечество умереть... Печать нездешнего спокойствия легла на красивые черты Русского солдата. Смерть сковывала губы. Прошептал еще раз:

- Рад. Умер. В такие минуты не лгут ни перед людьми, ни перед самим собою. Исчезает выучка и становится чистой душа, такую, какую она явится перед Господом Богом. Когда рассказывают о таких минутах, - тоже не лгут. Эти "неизвестные" умирали легко. Потому что верили. И вера спасет их.

\*\*\*

И так же, с такими же точно словами умирал на руках у сестры Лейб-Гвардии Преображенского полка солдат, по имени Петр. По фамилии... тоже неизвестный солдат.

Он умирал на носилках. Сестра опустилась на колени подле носилок и плакала.

- Не плачьте, сестрица. Я счастлив, что могу жизнь свою отдать за Царя и Россию. Ничего мне не нужно, только похлопочите о моих детях, - сказал умирающий солдат. И часто я думаю, где теперь эти дети Семеновского унтер-офицера Григория и Преображенского солдата Петра? Их отцы умерли за Веру, Царя и Отечество восемь лет тому назад. Их детям теперь 12-14-16 лет. Учатся ли они где-нибудь? Учились ли под покровительством какого-нибудь пролеткульта, или стали лихими комсомольцами и со свистом и похабной руганью снимали кресты с куполов сельского храма, рушили иконостас и обращали святой храм в танцуюлку имени Клары Цеткин?

Почему жизнь состроила нам такую страшную гримасу и почему души воинов, славою и честью венчаных, не заступятся у престола Всевышнего за своих детей? Десять месяцев провела сестра на передовых позициях. Каждый день и каждую ночь на ее руках умирали солдаты.

И она свидетельствует:

- Я не видала солдата, который не умирал бы доблестно. Смерть не страшила их, но успокаивала.

И истинно ее свидетельство.

\*\*\*

И не только умирали, но и на смерть шли смело и безропотно.

Когда были бои под Иванградом, то артиллерийский огонь был так силен, снаряды рвались так часто, что темная ночь казалась светлой и были видны лица проходивших в бой солдат.

Сестра стояла под деревом. В смертельной муке она исходила в молитве. И вдруг услышала шаги тысячи ног. По шоссе мимо нее проходил в бой армейский полк. Сначала показалась темная масса, блеснули штыки, надвинулись плотные молчаливые ряды, и сестра увидела чисто вымытые, точно сияющие лица. Они поразили ее своим кротким смирением, величием и силой духа. Эти люди шли на смерть. И не то было прекрасно и в то же время ужасно, что они шли на смерть, а то, что они знали, что шли на смерть и смерти не убоялись.

Солдаты смотрели на сестру и проходили. И вдруг отделился один, достал измятое письмо и, подавая его сестре, сказал:

- Сестрица, окажи мне последнюю просьбу. Пошли мое последнее благословение, последнюю благодарность мою моей матери, отправь письмецо мое...

И пошел дальше... И говорила мне сестра: ни ожесточения, ни муки, ни страха не прочла она на его бледном простом крестьянском лице, но одно величие совершаемого подвига.

А потом она видела. По той же дороге шла кучка разбитых, усталых, запыленных и ободранных солдат. Человек тридцать. Несли они знамя. В лучах восходящего солнца сверкало золотое копьё с двуглавым орлом и утренней росой блистал черный глянцевиый чехол. Спокойны, тихи и безрадостны были лица шедших.

- Где ваш полк? - спросила сестра.

- Нас ничего не осталось, - услышала она простой ответ...

Когда я прохожу по площади Etoile и вижу бескrestную могилу-клумбу неизвестного солдата, мне почему-то всегда вспоминаются эти скромные тихие души, ко Господу так величаво спокойно отошедшие.

Не душа ли неизвестного французского солдата, такая же тихая и простая и так же просто умевшая расстаться с телом, зовет и напоминает о тех, кто умел свершить свой долг до конца?

\*\*\*

А умирать им было не легко. Там же в Ломже, в госпитале, умирал солдат армейского пехотного полка. Трагизм смерти от тяжелых ран заключается в том, что все тело еще здорово и сильно, не истощено ни болезнью, ни страданиями, молодое и сильное, оно не готово к смерти, не хочет умирать и только рана влечет его в могилу - потому так трудно этому молодому и здоровому человеку умирать.

Пить просил этот солдат. Мучила его предсмертная жажда. В смертельном огне горело тело и когда сестра подала ему воду, сказал он ей:

- Надень на меня, сестрица, чистую рубашку. Чистым хочу я помереть, а совесть моя чиста. Я за Царя и Родину душу мою отдал... Ах, сестрица, как матушку родную мне жаль. Спасите меня хоть так, чтобы на один часочек ее еще повидать, чтобы деревню свою хоть одним глазком посмотреть... Спасите меня хоть так, чтобы на один часочек ее еще повидать, чтобы деревню свою хоть одним глазком посмотреть...

Сестра надела на него чистую белую рубашку.

Он осмотрел себя в ней, улыбнулся ясною улыбкой и сказал:

- Ах, как хорошо за Родину помирать. Потом вытянулся, положил руку под голову, точно хотел поудобнее устроиться, как устраивается на ночь ребенок, закрыл глаза и умер.

## 2. КАК ОНИ ОТНОСИЛИСЬ К СВОИМ ОФИЦЕРАМ

Те же люди, что клеветали на Царя, стараясь снять с Него величие Царского сана и печатанием гнусных сплетней, чужих писем хотят вытравить из народной души величие символа "За Веру, Царя и Отечество", также всячески старались зачернить отношения между солдатом и офицером. А отношения эти были большей частью простые и ласковые, а нередко и трогательно любовные, как сына к отцу, как отца к детям.

Лишь только спускались сумерки, как на тыловой линии, там и сям появлялись согнутые фигуры безоружных солдат. Шрапнели неприятеля низко рвались в темнеющем небе, и уже виден

был яркий желтый огонь их разрывов, бухали, взрывались тяжелые и легкие гранаты, и в темноте их черный дым вставал еще грознее и раскаленнее; светясь, летели красно-огненные осколки. Казалось, ничего живого не могло быть там, где едва намечалась .клокочущая ружейным и пулеметным огнем линия окопов.

По полю перебежали, шли, крались, припадали к земле и снова шли люди.

Это денщики несли своим офицерам в окопы, кто теплое одеяло, чтобы было чем укрыться в холодном окопе, кто тщательно завернутый в полотенце чайник с горячим чаем, кто хлеб, кто портсигар с папиросами. Им это строго запрещали их же офицеры. Но они не слушали запрещений, потому что видели в этом свой долг, а долг для них был выше жизни. Они понимали, как провожали их матери и жены этих офицеров и говорили им:

- Смотри, Степан, береги его. Помни, что он один у меня, единственный, позаботься о нем.

- Не извольте сумлеваться, барыня, сам не доем, не досплю, а о их благодородии позабочусь.

- Иван, - говорила молодая женщина с заплаканными глазами. -Иван, сохрани мне моего мужа.

Ты же знаешь, как я его люблю.

В эти страшные часы расставания, когда полк уже ушел на плац строиться, и денщики торопились собрать вещи, чтобы везти их на вокзал, матери и жены становились близкими и родными всем этим Иванам и Степанам и в них видели последнюю надежду. Денщики отыскивали своих раненых офицеров, выносили тела убитых, бережно везли их домой к родным.

- Куда вы, черти, лешие? Убьют ведь, - кричали им из окопов.

- А что-ж, робя, я так что ль своего ротного брошу? Мы его, как родного отца чтим, и чтобы не вынести?

- Убьют.

- Ну и пушай, я долг свой сполню.

И выносили оттуда, откуда нельзя было, казалось, вынести. Помню: двое суток сидел я с Донской бригадой своей дивизии в только что занятых нами немецких окопах у Рудки-Червище, на реке Стоходе. Это было в августе 1916 г. Противник засыпал все кругом тяжелыми снарядами, подходы к мосту простреливались ружейным огнем. Оренбургские казачьи батареи принуждены были выкопать в крутом берегу окопы для орудийных лошадей. Между нами и тылом легло пространство, где нельзя было ходить.

Смеркалось. Пустые избы деревни, вытянувшиеся улицей, четко рисовались в холодеющем небе. И вдруг на улице показалась невысокая фигура человека, спокойно и бесстрашно шедшего мимо домов, мимо раздутых трупов лошадей, мимо воронок от снарядов, наполненных грязной водой. Мы из окопа наблюдали за ним.

- А ведь это ваш Попов, - сказал мне Начальник Штаба, полковник Денисов.

- Попов и есть, - подтвердил старший адъютант. Попов шел, не торопясь, точно рисуясь бесстрашием. В обеих руках он нес какой-то большой тяжелый сверток. Весь наш боевой участок заинтересовался этим человеком. Снаряды рвались спереди, сзади, с боков, он не прибавлял шага. Он шел, бережно неся что-то хрупкое и тяжелое.

Спокойно дошел он до входа в окопы, спустился по земляным ступеням и предстал перед нами в большом блиндаже, накрытом тяжелым накатником.

- Ужинать, Ваше Превосходительство, принес, - сказал он, ставя перед нами корзину с посудой, чайниками, хлебом и мясом.

-Чай за два дня-то проголодались!..

- Кто же пустил тебя!

- И то, на батарее не пускали. Да как же можно так, без еды! И письмо от генеральши пришло, и посылка, я все доставил.

Этот Попов...

Но не будем говорить об этом. Этот Попов тогда, когда он служил в Русской Императорской Армии, даже и не понимал того, что он совершил подвиг Христианской любви и долга! А был он сам богатый человек, с детства избалованный, коннозаводчик и сын зажиточного торгового казака Богаевской станицы Войска Донского.

\*\*\*

В казармах нашей Императорской Армии висели картины. Это были литографии в красках, издания Ильина или типографии Главного Штаба, уже точно не помню. Изображали они подвиги офицеров и солдат в разные войны. Был там майор Горталов в белом кителе и кепи на затылке, прокалываемый со всех сторон турецкими штыками; был рядовой Осипов в укреплении Михайловском с факелом в руках, кидающийся к пороховому погребу. Запомнился мне еще подвиг Архипа Бондаренко, Лубенского гусарского полка, спасающего жизнь своему офицеру, корнету Воеводскому. Улица болгарской деревни, белые хаты с соломенными крышами, вдоль них скачет большая гнедая лошадь и на ней двое - раненый офицер и солдат!

Это было воспитание солдата. Дополнение к беседам о том, что "сам погибай, а товарища выручай". Молодыми офицерами мы ходили по казарменному помещению, окруженные молодежью, показывали картины и задавали вопросы. Называлось это "словесностью" и считалось одним из самых скучных занятий.

- Что есть долг солдата? - спрашивали мы, останавливаясь у картины, изображавшей подвиг Бондаренко.

- Долг солдата есть выручить товарища из беды. Долг солдата, если нужно, погибнуть самому, но спасти своего офицера, потому как офицер есть начальник и нужен больше, чем солдат.

- А что здесь нарисовано?

- Изображен здесь подвиг рядового Бондаренко, который, значит, под турецкими пулями и окруженный со всех сторон баши-базуками, увидев, что его офицер, корнет Воеводский, ранен и лошадь под ним убита, остановил свою лошадь и посадил офицера в седло, а сам сел сзади, и, отстреливаясь и прикрывая собою офицера, спас его от турок..

Думали ли мы тогда, что двадцать пять лет спустя подвиг братской Христианской любви к ближнему, подвиг высокого долга солдатского при обстоятельствах исключительных и гораздо более сложных, чем в 1877 г., будет повторен в мельчайших подробностях? Тогда казалось, да так и говорили, что красоты на войне не будет. Красоты подвига и любви. Что война обратится в бездушную бойню.

И пришла война. Неожиданно грозная и кровавая, и захватила все слои населения и подняла все возрасты. Старых и малых поставила в смертоносные ряды, и офицера, и солдата смешала в общей великой и страшной работе. И явились герои Долга и высокой Христианской любви.

Легендарные подвиги, запечатленные на картинах для воспитания солдатского, повторились с математической точностью. То ли мы хорошо их учили и сумели так воспитать солдата, что он стал способен на подвиги, то ли чувство долга и любви к ближнему в крови русского солдата и привито ему в семье и в церкви?

Это было в самые первые дни войны на турецком фронте, в долине Евфрата, 1-го ноября 1914 г. конный отряд Эриванской группы занял с боя турецкий город Душах-Кебир. Наше наступление шло в Ванском направлении к Мелазгерту. 2-го ноября от отряда была послана разведывательная сотня. Но, отойдя версты на четыре, она наткнулась на значительные силы конных курдов и принуждена была остановиться. Попытки разъездов пробиться дальше не увенчались успехом и начальник отряда, генерал-майор Певнев, решил 6-го ноября произвести усиленную разведку отрядом трех родов войск и оттеснить курдов. В разведку был назначен 3-ий Волгский казачий полк Терского казачьего войска под командой полковника Тускаева, два орудия 1-й Кубанской казачьей батареи под командой подъесаула Пеннева и два пулемета дивизионной команды под командой 1-го Запорожского Императрицы Екатерины II казачьего полка сотника Артифексова.

3-ий Волгский полк, только что мобилизованный, состоял из немолодых казаков и из случайных, призванных со льгот офицеров и командира, только что назначенного из конвоя Его Величества и отвыкшего управлять конными массами.

Напротив, батарея и пулеметчики - все были кадровые казаки с двух- и трехлетним обучением, молодежь, горевшая желанием померяться силами с врагом, прекрасно воспитанная и дисциплинированная, сжившаяся со своими офицерами.



Ранним утром яркого солнечного дня отряд вышел из Душаха. Пройдя четыре версты, на линии селения Верхний Харгацых, где горные отроги рядом холмов, прорезанных круторребрыми балками, спускаются в долину реки Евфрата, отряд услышал выстрелы. Главная сотня была встречена пешими и конными курдами. Искусно пользуясь глубокими оврагами и рельефом местности, террасами спускающимися к реке, курды маячили вокруг сотни, обстреливая ее со всех сторон.

Полковник Тускаев, не рискуя принять бой в конном строю, спешил две сотни, около 130-140 стрелков, и повел наступление на конные массы. Противник, укрывавшийся по балкам, развернулся. Перед Волгскими цепями была организованная курдская кавалерия - тысяч до пяти всадников.

Курдская конница охватила головную сотню, бывшую в версте от казачьих цепей. Курды, джигитуюя, подсакивали к казакам шагов на четыреста и поражали их метким прицельным огнем.

В сотне появились раненые и убитые. Она подходила к обрывистому берегу Евфратского русла. Вся каменистая долина реки пестрела курдскими толпами. Гул голосов, неясные вскрики, ржанье коней раздавались от реки. Повсюду были цели для поражения огнем и так велика была вера в технику, в силу артиллерийского и пулеметного огня, что полковник Тускаев приказал артиллерийскому взводу выехать вперед цепей и огнем прогнать курдов.

Лихо, по конно-артиллерийски, вылетел по узкой тропинке к берегу подьесаул Певнев, развернулся за двумя небольшими буграми у самого берега и сейчас перешел на поражение, ставя шрапнели на картечь.

Курды не дрогнули. Нестройными конными лавами, сопровождаемыми пешими, с непрерывной стрельбой, они повели наступление на головную сотню, стоявшую в прикрытии батареи, и на орудия. Терцы Волгского полка не выдержали атаки. Три взвода сотни оторвались и ускакали. Под берегом остался один взвод, человек пятнадцать, и два орудия, яростно бившие по курдам.

Им на помощь был послан пулеметный взвод сотника Артифексова.

Широким наметом, имея пулеметы на вьюках, пулеметчики выехали вперед орудия и сейчас же начали косить пулеметным огнем курдские толпы. Курды отхлынули. Пулеметный огонь был меткий на выбор, но курды чувствовали свое превосходство в силах и, отойдя на фронте, они скопились на левом фланге и, укрываясь холмами Евфратского берега, понеслись на бывшие сзади батареи сотни волгцев полковника Тускаева. Курды обходили их слева и сзади. Волгцы подали коноводов и ускакали, оставив орудия под речным обрывом.

В величавом покое сияло бездонное синее небо над розово-желтыми кремнистыми скатами Малоазиатских холмов. Тысячам курдов противостояла маленькая кучка казаков, едва насчитывавшая тридцать человек. Орудия часто стреляли, непрерывно трещали пулеметы, отстреливаясь во все стороны и осаживая зарывавшихся курдов. Телами убитых лошадей и людей покрывались скаты холмов, но крались и ползли курды, и меток и губителен становился их огонь.

Два молодых офицера, подьесаул Певнев и сотник Артифексов с горстью все позабывших и доверившихся им казаков, бились за честь русского имени.

Пулеметные ленты были на исходе. Взводный урядник Петренко - красавец и силач - доложил Артифексову полусшепотом:

- Ваше благородие, остались три коробки...

В то же мгновение первый пулемет замолчал. Номера были ранены, а сам пулемет поврежден. И сейчас же ранило 1-й номер второго пулемета. Огонь прекратился.

Сотник Артифексов сам сел за пулемет, тщательно выбирая цели и сберегая патроны.

Из тыла прискакал раненый казак Волжец.

- Командир полка приказал отходить! - крикнул он.

Из-за бугра показался Певнев.

- Сотник, прикрывайте наш отход, а мы прикроем ваш.

- Ладно. Будем прикрывать отход.

Заработал пулемет. Сзади звонко звякнули пушки, поставленные на передки. Загремели колеса. Орудия, со взводом Терцев, поскакали назад... На месте батареи остался зарядный ящик с убитыми лошадьми, трупы казаков и блестящие медные гильзы артиллерийских патронов.

На береговом скате офицер и десять казаков отстреливались от курдов пулеметом и из револьверов. Курды подходили на сто шагов. В неясном гортанном гомоне толпы уже можно было различать возгласы:

- Алла... Алла...

Одному Богу молились люди и молились о разном. Прошло минут десять. Сзади рявкнул выстрел и заскрежетал снаряд. Подъесаул Певнев снял орудия с передков. Пулеметчикам надо было отходить. Курды бросили пулеметы, и конная масса, человек в пятьсот, поскакала стороною на батарею. Нечем было их остановить. Орудия стояли под прямым углом одно к другому и часто били, точно лаяли псы, окруженные волками... Артиллерийский взвод умирал в бою.

- Вьючить второй пулемет, - крикнул Артифексов и сел на свою лошадь. Сознание силы коня и то, что на нем он легко уйдет от курдов, придало ему бодрости.

Курды кинулись на казаков.

- Ребята, ко мне! И тут, в двадцатом веке, произошло то, о чем пели былины на пороге девятого века. Петренко, как новый Илья Муромец, врубился в конные массы курдов и крошил их, как капусту. На бескровном лице его дико сверкали огромные глаза и сам он непроизвольно, не отдавая отчета в том, что он делает, хрипло кричал:

- Ребята, в атаку... Ребята, в атаку.. в атаку...

Рядом с ним, на спокойной в этом хаосе людских страстей лошади, стоял казак 3-го Волгского полка Файда и с лошади из винтовки почти в упор бил курдов.

Пулеметчики ушли... От отряда оставалось только трое: сотник Артифексов, Петренко и Файда. Петренко был ранен в грудь и шатался на лошади...

- Уходи! - крикнул Артифексов, отстреливаясь из револьвера, и как только Петренко и Файда скрылись в балке, выпустил своего могучего кровного коня... Впереди было каменистое русло потока. Сзади нестройными толпами, направляясь к агонизировавшей батарее, скакали курды. Часто щелкали выстрелы. Большие камни русла заставили сотника Артифексова задержать коня, перевести его на рысь и потом на шаг. Лошадь Артифексова вдруг как-то осела задом, заплела ногами и грузно свалилась. Сейчас же вскочила, отпрянула и упала на Артифексова, тяжело придавив ему ногу.

Мимо проскакали курды. Они шли брать батарею. Иные соскакивали у трупов казаков и обирали их. Громадный курд увидел Артифексова, бившегося под лошадью, соскочил с коня и с ружьем в руках бросился на офицера. Он ударил Артифексова по голове прикладом, торчком. Мохнатая кубанская шапка предохранила голову и тяжелый удар вызвал только минутное помутнение в голове. Артифексов схватил курда одною рукой за руку, другою за ногу и повалил, зажав его голову под мышкой правой руки, а левой рукой старался достать револьвер из-под лошади. Курд зубами впился в бок Артифексова, но тому удалось достать револьвер и он, выстрелом в курда, освободился от него.

Мутилось в голове. Как в тумане увидел Артифексов двух Волгских казаков, скакавших мимо.

- Братцы, - крикнул он, - помогите выбраться.

Казак по фамилии Высококобылка остановился.

- Стой, ребята, пулеметчиков офицер ранен.

- Я не ранен, а только не могу встать...

Высококобылка закричал что-то и стал часто стрелять по наседавшим курдам. Другой казак, Кабальников, тоже что-то кричал Артифексбву. Артифексов рванулся еще раз и выкарабкался из-под лошади. Но сейчас же на него налетело трое конных курдов. Одного убил Артифексов, другого - кто-то из казаков, третий поскакал назад.

- Ваше благородие, бегите сюда, - крикнул Артифексову Высококобылка. Казаки из-за больших камней русла не могли подъехать к офицеру. Артифексов подошел к ним. Они стали по сторонам его, он вставил одну ногу в стремя одному, другую - другому и, обнимая их, поскакал между ними по дороге. Но дальше шла узкая тропинка. По ней можно было скакать только одному. От удара по голове силы покидали Артифексова.

- Бросай, ребята. Все равно ничего не выйдет.

- Зачем бросай, - сказал Высококобылка и спрыгнул со своей лошади.

- Садитесь, Ваше благородие. Кабальников, веди его благородие. За луку держитесь. Ничего, увезем.

На мгновение Артифексов хотел отказаться, но машинально согласился. Высококобылка опустил на колено у покрытой в холме тропы и изготовился стрелять. И как только курды сунулись в промоину, меткими выстрелами стал их класть у щели.

Выпустив пять патронов, он догнал Кабальникова, вскочил на круп лошади и все трое поскакали дальше. Но не проскакали они и двухсот шагов, как курды прорвались в щель и стали стрелять по казакам. Высококобылка соскочил с лошади, лег и остался один против курдов, выстрелами на выбор он опять остановил их преследование, потом подбежал к Кабальникову и, взявшись за хвост лошади, бежал за Артифексовым.

Они уже выходили из поля боя. Стали попадаться казаки отряда. Курды бросили преследование. Сотник Артифексов был опасен.

Глухою ночью он проснулся. Нестерпимо болела ушибленная нога. Кошмары давили. В пустой хате, где его положили, было темно и страшно. Шатаясь, он вышел на воздух. В бескрайней пустыне горел костер. Кругом сидели казаки.

- Братцы, дайте мне побыть с вами, страшно мне одному. Голова болит, - сказал Артифексов.

Молча подвинулись казаки. Офицер сел у костра. Он прилег. Чья-то заботливая рука прикрыла его ноги буркой.

Тихо горел костер. Трещали чуть слышно мелкие сучья.

В стороне жевали кони. Высоко в небе ткали невидимый узор звезды, точно перекидывались между собою лучами-мыслями.

Молчали казаки.

Подвиг братской Христианской любви и самопожертвования был совершен.

По уставу.

Как офицер "дома" учил. Как наказывал отец. Как говорила, провожая, мать. Как обязан был поступать каждый казак, как поступали тогда все...

\*\*\*

Теперь... Высококобылка и Кабальников, где вы? В белой армии, на тяжелых работах в чужой неприятной стране?.. Или дома, в разоренном хуторе под чужой властью?.. Или служите III Интернационалу, не за совесть, а за страх, выколачивая из русских мужиков продналог...

Откликнитесь, где вы?..

Или спите в безвестной могиле, в широкой степи, без креста и гроба похороненные, и души ваши, со святыми у Престола Всевышнего... славою и честью венчанные...

Ибо подвиг ваш, награжденный Царем земным, не останется без награды и у Господа Сил.

### 3. КАК ОНИ ТОМИЛИСЬ В ПЛЕНУ

Есть еще на войне страшное место. Страшное и болезненное. Плен. Так много грязного и тяжелого рассказывали про пленных, так много ужасного.

В марте 1915 года были бои на р. Днестре, под Залещиками. Я со своим 1-м Донским казачьим полком занимал позицию впереди Залещиков, на неприятельском берегу. Перед нашими окопами, шагах в шестистах, был редут, занятый батальоном 30-го Александрийского пехотного полка. Это был ключ нашей позиции.

Австро-германцы - против нас была венгерская пехота и германская кавалерийская бригада - сосредоточили по этому редуту огонь двух полевых и одной тяжелой батареи. Нам были видны разрывы снарядов и темные столбы дыма подле редута. Это продолжалось полчаса. Потом огонь стих. В бинокль мы увидели большую белую простыню над редутом, а потом серую толпу, перевалившую к неприятелю. Я никогда не забуду того отвратительного чувства тоски, обиды и досады, что залили тогда сердце. Эта сдача александрийцев дорого стоила нам, принужденным отстаивать позицию без них и без их редута.

И еще помню.

На Стоходе, на рассвете, мы увидели, как два солдата армейского запасного полка прошли из окопа к копне сена, бывшей между нами и австрийцами. Что-то поговорили между собою, навязали на штык белый платок и ушли... к неприятелю.

И потому к пленным было у нас нехорошее чувство. Такое чувство было и у той сестры (рассказы которой про солдатскую смерть я записал), когда она в 1915 году была назначена посетить военнопленных в Австро-Венгрию. Она знала, что неприятель там вел противорусскую пропаганду и потому приступила к исполнению своего поручения без страха.

"После всего, пережитого мною на фронте, в передовых госпиталях, после того, как повидала я все эти прекрасные смерти наших солдат, -рассказывала мне сестра, - было у меня преклонение перед русским воином. И я боялась увидеть пленных... И увидела... подошла к ним вплотную... Вошла в их простую, томящуюся душу... И мне не стало стыдно за них".

С тяжелым чувством ехала сестра к немцам. Они были виновниками гибели стольких прекрасных русских. Они убили ее жениха. Когда пароход, шедший из Дании, подошел к Германии, сестра спустилась вниз и забилась в свою каюту. Ей казалось, что она не будет в состоянии подать руки встречавшим ее немецким офицерам. Это было летом 1915 г. На фронте у нас было плохо. Армии отступали, враг торжествовал.

У маленького походного образа в горячей молитве склонилась сестра. Думала она: "Я отдала свою жизнь на служение русскому солдату. Отдала ему и свои чувства. Переборю, переломлю себя. Забуду Германию в любви к России".

Тогда еще не всплыли в армии шкурные интересы, не торопились делить господскую землю, не говорили: "Мы пензенские, до нас еще когда дойдут, чаво нам драться? Вот, когда к нашему селу подойдут, тады покажем". Тогда была Императорская Армия и дралась она за Веру, Царя и Отечество, а не за землю и волю, отстаивала Россию, а не революцию.

С верою в русского солдата вышла сестра к немцам и поздоровалась с ними. Сейчас же повезли ее в Вену.

Если у нас шпиономания процветала, то не меньше нашего были заражены ею и враги. За сестрою следили. Ее ни на минуту не хотели оставить с пленными наедине, чтобы не услышала ничего лишнего, не узнала ничего такого, что могло бы повредить немцам. Пленным было запрещено жаловаться сестре на что бы то ни было, и уже знала сестра стороною, что тех, кто жаловался, наказывали, сажали в карцер, подвешивали за руки, лишали пищи.

Первый раз увидела она пленных в Вене, в большом резервном госпитале. Там было сосредоточено несколько сот русских раненых, подобранных на полях сражений.

С трепетом в сердце, сопровождаемая австрийскими офицерами, поднялась она по лестнице, вошла в коридор. Распахнулась дверь, и она увидела больничную палату.

О ее приезде были предупреждены. Ее ждали. Первое, что бросилось ей в глаза, были белые русские рубахи и чисто вымытые, бледные, истощенные страданием, голодом и тоскою лица. Пленные стояли у окон с решетками, тяжело раненные сидели на койках, и все, как только появилась русская сестра в русской косынке и апостольнике, с широким красным крестом на груди, повернулись к ней, придвинулись и затихли страшным, напряженным, многообещающим молчанием.

Когда сестра увидела их, столь ей знакомых, таких дорогих ей по воспоминаниям полей Ломжи и Ивангорода, в чуждом городе, за железными решетками, во власти врага, - она их пожалела русскою жалостью, ощутила чувство материнской любви к детям, вдруг поняла, что у нее не маленькое девичье сердце, но громадное сердце всей России, России-Матери.

Уже не думала, что надо делать, что надо говорить, забыла об австрийских офицерах, о солдатах с винтовками, стоявших у дверей. Низко, русским поясным поклоном, поклонилась она всем и сказала:

- Россия-Матушка всем вам низко кланяется.

И заплакала.

В ответ на слова сестры раздались всхлипывания, потом рыдания. Вся палата рыдала и плакала. Прошло много минут, пока эти взрослые люди, солдаты русские, успокоились и затихли.

Сестра пошла по рядам. Никто не жаловался ни на что, никто не роптал, но раздавались полные тоски вопросы:

- Сестрица, как у нас?
- Сестрица, что в России?
- Сестрица, чья теперь победа?

Было плохо. Отдали Варшаву, отходили за Влодаву и Пинск.

- Бог милостив... Ничего... Бог поможет... - говорила сестра и понимали ее пленные.

- Давно вы были в церкви? - спросила их сестра.

- С России не были! - раздались голоса с разных концов палаты. Сестра достала молитвенник и стала читать вечерние молитвы, как когда-то читала их раненым. Кто мог - встал на колени, и стала в палате мертвая, ничем не нарушаемая тишина. И в эту тишину, как в сумрак затихшего перед закатом леса, врывается легкое журчанье ручья, падали кроткие, знакомые с детства слова русских молитв.

Молитвою была сильна Императорская Православная Россия, сильна и непобедима.

На секунды оторвалась от молитвенника сестра и оглядела палату. Выражение сотни глаз пленных ее поразило. Устремленные на нее, они видели что-то такое прекрасное и умиротворяющее, что стали особенными, духовными и кроткими. Сердца их очищались молитвою. "Блаженны чистые сердцем, яко Бога узрят", - подумала сестра и поняла, что они Бога видели.

Когда настала молитвенная тишина, один за другим стали выходить из палаты австрийские офицеры, дали знак и ушли часовые. Сестра осталась одна с пленными.

Она кончила молитвы. Надо было идти на следующий этаж, а никого не было, кто бы указал ей дорогу.

Сестра вышла на лестницу и там нашла всех сопровождавших ее.

- Мы вышли, - сказал старший из австрийских офицеров, - потому что почувствовали Бога. Мы решили, что вы можете ходить по палатам и посещать пленных без нашего сопровождения.

Они поверили сестре.

\*\*\*

Сестра боялась, что пленные, жаловавшиеся ей, будут наказаны. Она знала, что, хотя австрийцы и не следят более за нею по палатам, но в каждом помещении есть свои шпионы и доносчики. Эту роль на себя брали по преимуществу евреи, бывшие почти везде переводчиками.

Генерал-инспектором лагерей военнопленных был генерал Линхард. Он отлично относился к сестре и был с нею рыцарски вежлив.

- Генерал, - сказала сестра, отдавая ему отчет о первом посещении пленных, - теперь такое ужасное время. Я послана как официальное лицо, и вы являетесь тоже лицом официальным. Но забудем это... Будем на минуту просто людьми. Мы, русские, любим жаловаться, плакаться, преувеличивать свои страдания, клясть свою судьбу, это нам облегчает горе. Солдаты видят во мне мать, и как ребенок матери, так они мне хотят излить свое горе. Верьте мне - я не буду пристрастна, я сумею отличить, где правда и где просто расстроенное воображение. Я не позволю использовать себя во вред вам. Я даю вам слово русской женщины. Но мне говорили, что тех, кто жалуется, будут жестоко наказывать... Так вот, генерал, дайте мне честное слово австрийского генерала, что вы отдадите приказ не наказывать тех, кто будет мне жаловаться.

Генерал встал, поклонился и коротко и сурово сказал:

- Даю вам это слово.

Сестра посетила более ста тысяч пленных. Жаловавшиеся ей наказаны не были.

## 4. ЧТО БЫЛИ ДЛЯ НИХ РОССИЯ И ЦАРЬ

Вместо Российской Империи – большевистский застенки, с хамом, сумасшедшими и жидами у кормила в Святом Кремле. Там повсюду развеваются красное, кровавое знамя. Поруганы семья и Церковь. Самое слово «Россия» не существует, и все-таки «мы в изгнании суще» тоскуем по ней и жаждем вернуться.

Что же испытывали пленные, заточенные по лагерям и тюрьмам и оставившие Россию целою с Государем, с ее великой, славной Армией. Их тоска была неопишима.

Любили они горячей, страстной любовью то, за что принимали страдания... Высокого роста, красивый солдат в одном из лагерей отделился от строя и тихо сказал сестре:

- Сестрица, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз.

Сестра перевела его просьбу сопровождавшему ее генералу. Генерал разрешил.

- Пожалуйста, - сказала сестра, - генерал позволил. Они отошли в сторону, за бараки. Солдат смутился, покраснел и заговорил теми красивыми русскими певучими словами, что сохранились по деревням вдали от городов и железных дорог, словами, подсказанными природой и жизнью среди животных, зверей и птиц.

- Сестрица, дороже мне всего на свете портрет Царя-Батюшки, что дал Он мне, как я служил в его полку. Зашит он у меня в сапоге. И ни есть, и ни пить мне не надо, а был бы цел Его портрет. Да вот горе-беда, пошли помежду нами шпионы. Проведают, пронюхают, прознают про тот портрет. Как бы не отобрали? Как бы не попал он в поганые вражеские руки? Я, сестрица, думал: возьми и свежи его на Родину я дай, куда сохранить... Али опасно?

Сестра сказала ему, что все ее бумаги и документы просматриваются австрийскими властями и скрыть портрет будет невозможно. Задумался солдат.

«Тогда не могу его вам отдать. Неладно будет. Присоветуйте... хочу записаться я, чтобы в полях работать. И вот, скажем, ночь тихая, погода светлая, и наклею я портрет на дерево и пущу его по тихим водам речным и по той реке, что с какой ни есть русскою рекою сливается, чтобы причалил он к русским берегам. И там возьмут его. Там-то, я знаю, сберегут».

«Бог спасет, оставь у себя в голенище», - сказала сестра.

\*\*\*

У сестры на груди висели золотые и серебряные Георгиевские медали с чеканным на них портретом Государя. Когда она шла вдоль фронта военнопленных по лагерю, ей подавали просьбы.

Кто просил отыскать отца или мать и передать им поклон и привет. Не знает ли она, кто жив, кто убит? Кто передавал письмо, жалобы или прошения. И вдруг, - широкое крестное знамение... Дрожащая рука хватает медаль, чье-то загорелое усталое лицо склоняется и целует Государев портрет на медали.

Тогда кругом гремит "ура"! Люди металась в исступлении, чтобы приложиться к портрету, эмблеме далекой Родины-России.

И бывал такой подъем, что сестре становилось страшно, не наделали бы люди чего-нибудь противозаконного.

\*\*\*

Положение военнопленных в Германии и Австрии к концу 1915 г. было особенно тяжелым, потому что в этих странах уже не хватало продовольствия, чтобы кормить своих солдат, а чужих пленников едва-едва кормили, держали их на голодном пайке.

И вот что мне рассказывала сестра о настроении голодных, забытых людей.

Это было под вечер ясного осеннего дня. Сестра только что закончила обход громадного лазарета в Пурк-Штале, в Австро-Венгрии, где находилось 15 тысяч военнопленных. Они были разбиты на литеры по триста человек и одной литере было запрещено сообщаться с другой. Весь день она переходила от одной группы в 100--120 человек к другой. Когда наступил вечер и солнце склонилось к земле, она пошла к выходу.

Пленным было разрешено проводить ее и выйти из своих литерных перегородок. Громадная толпа исхудалых, бедно одетых людей, залитая последними лучами заходящего солнца, следовала за сестрой. Точно золотые дороги потянулись с Запада на Восток, точно материнская ласка вечернего светила посылала последние объятия далекой России.

Сестра выходила к воротам. Она торопилась, обмениваясь с ближайшими солдатами пустыми, ничего не значащими словами.

- Какой ты губернии?

- В каком ты полку служил?

- Болит твоя рана?

У лагерных ворот от толпы отделился молодой высокий солдат. Он остановился перед сестрой и, как бы выражая мнение всех, начал громко, восторженно говорить:

- Сестрица, прощай, мы больше тебя не увидим. Ты свободная... Ты поедешь на родину в Россию, так скажи там от нас Царю-Батюшке, чтобы о нас не недужился, чтобы Манифеста своего из-за нас не забывал и не заключал мира, покуда хоть один немец будет на Русской земле. Скажи России-Матушке, чтобы не думала о нас... Пускай мы все умрем здесь от голода-тоски, но была бы только победа.

Сестра поклонилась ему в пояс. Надо было сказать что-нибудь, но чувством особенным была переполнена ее душа, и слова не шли на ум. Пятнадцатитысячная толпа притихла и в ней было напряженное согласие с говорившим.

И сказала сестра:

- Солнце глядит теперь на Россию. Солнце видит вас и Россию видит. Оно скажет о вас, какие вы... - и, заплакав, пошла к выходу.

Кто-то крикнул: "Ура, Государю Императору". Вся пятнадцатитысячная толпа вдруг рухнула на колени и едиными устами и единым духом, запела: "Боже, Царя храни"... Звуки народного гимна нарастали и сливались с рыданиями, все чаще прорывавшимися сквозь пение. Кончили и запели второй и третий раз запрещенный гимн.

Австрийский генерал, сопровождавший сестру, снял с головы высокую шапку и стоял навтыжку. Его глаза были полны слез.

Сестра поклонилась до земли толпе военнопленных и, сдерживая рыдания, быстро пошла к ожидавшему ее автомобилю.

\*\*\*

Мир во что бы то ни стало. Мир через головы генералов. Мир, заключаемый рота с ротой, батальон с батальоном по приказу никому неведомого Главковерха Крыленко.

Без аннексий и контрибуций...

Когда была правда? Тогда, когда за Пуркштальским лагерем, за чужую землю закатывалось ясное русское солнце, или тогда, когда восходило кровавое солнце русского бунта?

\*\*\*

Гимн и молитва были тем, что наиболее напоминало Родину, что связывало духовно этих несчастных, томящихся на чужбине людей со всем, что было бесконечно им дорого. Дороже жизни.

Это было в одном громадном госпитале военнопленных. Весь австрийский город был переполнен ранеными, и пленные, тоже раненные, помещались в здании какого-то большого училища.

В этом госпитале было много умирающих и те, кто уже поправился и ходил, жили в атмосфере смерти и тяжких мук.

Когда, сестра закончила обход палат и вышла на лестницу, за нею вышла большая толпа пленных. Ее остановили на лестнице и один из солдат сказал ей:

- Сестрица, у нас здесь хор хороший есть. Хотели бы мы вам спеть то, что чувствуем.

Сестра остановилась в нерешительности. Подле нее стояли австрийские офицеры.

Регент вышел вперед, дал тон и вдруг по всей лестнице, по всем казармам, по всем палатам, отдаваясь на улицу, величаво раздались мощные звуки громадного, дивно спевшегося хора.

«С нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог», - гремел хор по чужому зданию, в городе, полном «чужих» языков.

Лица поющих стали напряженные. Какая-то странная решимость легла на них. Загорелись глаза огнем вдохновения. Скажи им сейчас, что их убьют, всех расстреляют, если они не перестанут петь, они не послушались бы.

А кругом плакали раненые. Сестра плакала с ними... После отъезда сестры весь госпиталь, все, кто только мог ходить, собрались в большой палате. Калеки приползли, слабые пришли, поддерживаемые более сильными. Делились впечатлениями пережитого.

- Ребята, сестра нам хорошего сделала. Надоть нам так, чтобы непременно ее отблагодарить. Память, какую ни на есть, ей по себе оставить.

- Слыхали мы, остается сестрица еще день в нашем городе, давайте сложимся и купим ей кольцо о нас в напоминание.

- Или какое рукоделие ей сделаем? Посыпались предложения, но все не находили сочувствия. Все казался подарок мал и ничтожен по тому многому, что оставила сестра в их душах.

И тогда встал на табуретку маленький, невзрачный на вид солдат, совсем простой и сказал:

- Ей подарка не нужно, не такая она сестра, чтобы ей подарок, или что поднести. Мы плакали о своем горе и она с нами плакала. Вот если бы мы могли из ее и своих слез сплести ожерелье - вот такой подарок ей поднести.

В палате после этих слов наступила тишина. Раненые молча расходились. Все было сказано этими словами.

Вольноопределяющийся, бывший свидетелем этого, рассказал сестре. Говорила мне сестра:

- Когда мне делается особенно тяжело, и мысли тяжкие о нашей несчастной Родине овладевают мною, и болезни мучат, мне кажется тогда, что на шее у меня лежит это ожерелье из чистых русских солдатских слез - и мне становится легче.

\*\*\*

Молитва в сердцах этих простых русских людей всегда соединялась с понятием о России. Точно Бог был не везде, но Бог был только в России. может быть это было потому, что у Бога было хорошо, а хорошо было только в России.

В Венгрии, в одном поместье, где работали четыреста человек пленных, к сестре, после осмотра ею помещений и обычной беседы и расспросов, подошло несколько человек и один из них сказал:

- Сестрица, мы построили часовню. Мы хотели бы, чтобы ты посмотрела ее. Но не суди ее очень строго. Она очень маленькая. Мы хотели, чтобы она была русской, совсем русской, и мы строили ее из русского леса, выросшего в России. Мы собрали доски от тех ящиков, в которых нам посылали посылки из России, и из них построили себе часовню. Мы отдавали последнее, что имели, чтобы построить ее себе.

Было Крещение. Сухой, ясный, морозный день стоял над скованными полями. Жалкий и трогательный вид имела крошечная постройка в пять шагов длины и три шага ширины, одиноко стоявшая в поле. Бедна и незатейлива была ее архитектура.

Но когда сестра вошла в нее, странное чувство овладело ею. Точно из этого ящика дохнула светлым дыханием великая в страдании Россия. Точно и правда русские доски принесли с собою русский говор, шепот русских лесов и всплески и журчанье русских рек.

- Когда нам бывает уж очень тяжело, - сказал один из солдат, - когда за Россией душа соскучится, захотим мы, чтобы мы победили, чтобы хорошо было Царю-Батюшке, пойдешь сюда и чувствуешь точно в Россию пошел. Вспомнишь деревню свою, вспомнишь семью.

Солдаты и сестра сели подле часовни. Почему-то сестре вспомнились слова Спасителя, сказанные Им по воскресении из мертвых: "Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и к Богу вашему".

- Не погибнут эти люди, не может погибнуть Россия, пока в ней есть такие люди, - думала сестра. - Если мы любим Бога и Отечество больше всего, и Бог нас полюбит и станет нашим Отцом и нашим Богом, как есть Он Бог и Отец Иисуса Христа.



Сестра, как умела, стала говорить об этом солдатам. Они молча слушали ее. И, когда она кончила, они ей сказали:

- Сестрица, споем "Отче наш".

Спели три раза. Просто, бесхитростно, как поют молитву Господню солдаты в ротах. Казалось, что это было не в Венгрии, а в России, не в плену, а на свободе. В стороне стоял венгерский офицер, наблюдавший за пленными в этом поместье. Он тоже снял шапку и молился вместе с русскими солдатами.

Провожая сестру, он сказал ей:

- Я венгерский офицер, раненный на фронте. Когда вы молились и плакали с вашими солдатами, и я плакал. Когда теперь так много зла на земле, и эта ужасная война и голод, я вдруг увидел, что есть небесная любовь. И это меня тронуло, сестра. Не беспокойтесь о них. Я теперь всегда буду относиться к ним сквозь то чудное чувство, что я пережил сейчас с вами, когда молился и плакал.

\*\*\*

В одном большом городе, в больнице, где администрация и сестра очень хорошо и заботливо относились к пленным, сестра раздавала раненым образки.

Они вставали, кто мог, крестились и целовали образки. Один же, когда она к нему подошла, сел.

- Сестрица, - сказал он, - мне не надо вашего образка. Я не верю в Бога и никого не люблю. В мире одно мученье людям, так уж какой тут Бог? Надо одно, чтобы зло от войны прекратилось. И не надо мне ни образов, ни Евангелия - все зло и обман.

Сестра села к нему на койку и стала с ним говорить. Он был образованный, из учителей. Слушал ее внимательно.

- Спасибо вам, - сказал он. - Ну, дайте мне образок.

Из немигающих глаз показались слезы. Сестра дала ему образок, поднялась и ушла.

Прошло много времени. Сестра вернулась в Петербург. Однажды в числе других писем, она получила открытку из Австрии. Писал тот солдат, которому она дала образок:

« Дорогая сестрица, откуда у вас было столько любви к нам, что когда вы вошли в палату, я почувствовал своим ожесточенным, каменным сердцем, что вы любите каждого из нас. Я благословляю вас, потому что вы - сердце, поющее Богу песнь хвалы. У меня теперь одна мечта - вернуться на Родину и защищать ее от врагов. Хотелось бы увидеть еще раз вас и мою мать».

## 5. ОНИ БЕЖАЛИ ИЗ ПЛЕНА, ЧТОБЫ СНОВА СРАЖАТЬСЯ ЗА РОССИЮ

Эта мечта - снова увидеть Родину и драться, защищая ее от врагов, была наиболее сильной и яркой мечтой у большинства пленных. Как ни сурово было наказание за побег, из плена постоянно бежали. Бежали самым необыкновенным образом и, что замечательно, при поимке никогда не говорили, что бежали для того, чтобы повидать семью или жену, или детей, но всегда заявляли, что бежали для того, чтобы вернуться в родной полк смыть позор плена и в рядах полка сражаться против неприятеля.

Особенно много бежало казаков. Надо и то сказать, что с казаками в плену обращались строго. В Австро-Германской армии было убеждение, что казаки не дают пощады врагу, что они не берут пленных и потому в лагерях мстили казакам. И еще одно. В казачьих частях плен, по традиции, считался не несчастьем, а позором и поэтому даже раненые казаки старались убежать, чтобы смыть с себя позор плена.

В Данию был интернирован казак, три раза убежавший из плена в Германии. У него была одна мечта - вернуться в полк и снова сражаться. Чтоб бежать, он прибежал к всевозможным уловкам. Притворялся сумасшедшим. Сидел на койке и выдергивал из себя волосы, по одному волосу в минуту, ничего не ел, бросался на проходящих. Его отправили в сумасшедший дом. Он связал из разорванной

простыни канат и ночью бежал из окна уборной. На границе его поймали. Его мучили, держали в карцере, подвешивали к стенке. Он притворился покаявшимся и устроился на полевые работы. Едва затянулись реки, бежал снова глухой осенью. Более недели скитался, питаюсь только корнями, оставшимися в полях, упал от истощения и был пойман. Его отправили в Данию.

- Убегу и отсюда, - говорил он. - Надо смыть позор. Я казак, а во время войны в плену сижу. И бежал...

\*\*\*

В Моравии, на сахарном заводе, у помещика работало двести русских военнопленных. Партией заведовал русский еврей. Русский же еврей был и поваром при партии. Евреи переводчики, евреи-заведующие партиями - это было одним из самых тяжелых бытовых явлений плена. Они контролировали почту, они читали письма пленных, они доносили на строптивых, и из-за них были цепи, подвешивания, карцеры, бичевания и расстрелы. Они знали язык, но не были русскими, они не любили Россию. Суровое молчание и глухое недовольство было на заводе. Голодные, забитые люди только что кончили рассказы о своем горе и, мрачно столпившись, стояли около завода.

Вдруг тишину вечера нарушили крики, грубая брань и стук. Пленные тревожно заговорили...

- Ах, ты, Боже мой... Царица Небесная... Он попался. Он ушел, а его-таки поймали.

Сестра увидела: два австрийских солдата волочили какого-то, почти голого человека. На худом, грязном, изможденном теле болтались обтрепанные лохмотья шинели, и шатаясь, как пьяный, он брел. В глазах горела мука.

Увидав сестру, он остановился.

- Сестрица, ты свободная? - спросил он хриплым голосом.

- Да, я свободная, я приехала, чтобы передать вам поклон от Матушки России.

- Ты вернешься в Россию?

- Да...

- Так вот... Я знаю, что меня убьют... Мне расстрела не избежать. Скажи там на Родине, что я хотел пробраться туда, чтобы воевать, чтобы смыть с себя срам плена...

Он вдруг повернулся к лесу. Его лицо просветлело. Загорелись внутренним огнем большие, в темных веках, глаза. Несколько секунд смотрел он на прекрасные дали и вдруг воскликнул с таким чувством, с такою силою, что никогда не могла забыть этого сестра:

- Вот поле, вот лес... а за вами... Россия-Матушка... И не видать мне тебя...

Кругом все замерли. В крике этого пойманного пленного было столько силы, столько мольбы, что казалось, лес расступится, холмы распадутся и за ними, в зеленых далях покажутся низкие домики русских деревень и купола православных церквей. Казалось, что дали ответят на этот призыв и примут в себя беглеца..

## 6. ОНИ УМИРАЛИ В ПЛЕНУ, ПОМНЯ РОССИЮ

Но еще тяжелее было положение, еще тяжелее настроение у пленных больных, умирающих, у тех, кто не мог надеяться, когда бы то ни было увидеть Родину.

Там было одно отчаяние, одна молитва, одна вера в будущую жизнь, и нельзя было видеть тех людей без тоски, без слез.

Когда сестра навещала лазарет туберкулезных пленных в Моравии - это были одни сплошные слезы. Там лежали люди, которым оставалось 3-4 недели жизни. Каждый день из палат уносили мертвецов и остававшиеся знали, что их час был близок.

- Сестрица, сделай так, чтобы нам Россию еще повидать... Тяжело умирать со срамом плена на душе... Ты скажи там, что мы больные, что умираем, а свое помним... Все одно, как на фронте, -« за Веру, Царя и Отечество».

На одной из коек лежал солдат Васильев. Он был очень плох. Сестра села к нему на койку.

- Чувствую я, сестрица, что умираю. До конца был верен Царю и Отечеству и в плен не по своей воле попал. Все сдались. Я и не знал, что это уже плен. Так хотел бы жену свою и детей повидать.

Шестеро их у меня. Что с ними будет? - одному Богу известно. Ни коровы, ни лошади, ничего у них нет. По миру пойдут. А мир-то каков! Тяготит это меня, сестра.

Сестра заговорила о Боге. Она заговорила о небесных обителях, о великой премудрости Бога, о Его всеведении, о том, что Он не оставит, не попустит так погибнуть его семье. Она говорила о вечной жизни, о свете незримом, о счастье чистой совести.

Она, сама верующая, много могла сказать солдату, умирающему в тоске плена. Он слушал внимательно и радостным становилось его лицо.

- Господи, - прошептал он, - умереть бы скорее. Как хорошо так умирать.

## 7. В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ ИХ ПОНИМАЛИ

Незримые нити к Государю и Родине, уверенность в правоте своей смерти тянулись от этих страдальцев домой, в их семьи, и в далеких углах деревенской России было горение любви, удовлетворенность и любование солдатской смертью, как подвигом. Быть может, из деревни, так многими захаянной, и шли эти здоровые токи, что давали мужество нашим солдатам так прекрасно умирать, и на поле брани, и в плену.

Сестра проезжала через австрийскую деревню. Вдруг кто-то бросил в автомобиль букет. Это были простые полевые цветы, искусно подобранные и связанные зелеными стеблями. Сестра посмотрела, кто бросил цветы. Это был русский солдат. Она его подозвала.

- Благодарствую, - сказала она. - Зачем ты бросил мне эти цветы?

- Я слышал в городе, что через наше село проезжает сестра из России. Я хотел, чтобы она знала, что мы и здесь, в плену, не забыли России и любим ее всем сердцем.

- Ты один здесь?

- Нет, тут есть больница и в ней несколько наших.

Сестра попросила разрешения навестить эту больницу, не указанную в ее маршруте. Это была совсем маленькая деревенская больница. В ней лежали сербы и румыны. Сестра передала союзникам братский привет из России и спросила, есть ли здесь кто русский? В небольшой палате с приспущенными от солнца ставнями стояли прозрачные сумерки. В углах было темно. Из темноты раздался слабый голос умирающего.

- Я русский. Сестра подошла к нему. Едва она подошла к койке, как очень худой больной, с истощенным болезнью лицом, приподнялся, схватил ее плечи, обнял и зарыдал.

- Успокойся, - сказала ему сестра.

- Сестрица, я умираю. У меня чахотка, и знаю я, что не проживу долго. Сестрица, выпроси у начальства, чтобы отпустили меня в Россию. Все равно, какой я теперь воин? Хочу сказать, чтобы знали там дома, чтобы знал Царь-Батюшка, что не изменой я попал в плен.

Сестра поговорила с австрийским генералом, и он обещал ей устроить это. Но доктор сказал сестре, что больной так плох, что не перенесет дороги и умрет по пути.

- Все равно отправьте, - сказала сестра. - Волнения сборов в Россию дадут ему много радости.

Недели через две она получила известие, что больной переведен в Вену в один из больших госпиталей и оттуда отправлен в Россию. Проездом через Вену она навестила его.

Он уже не лежал беспомощно на койке, а сидел и был веселый и оживленный. Он сейчас же узнал сестру и стал ей рассказывать, как он сначала поедет к отцу и матери, в Уфимскую губернию, повидать их, а потом поедет в полк, сражаться за Родину.

Сестра благословила его иконою. Прошло некоторое время. Сестра вернулась в Петербург. Ей доставили письмо, посланное через Красный Крест. Письмо было из деревни. На плотной бумаге с зелеными линейками прыгали нескладные, круглые буквы и говорили о сложных, тонких душевных переживаниях старых крестьянина и крестьянки. Письмо было от родителей этого самого солдата.

... «Торопимся скорее исполнить последнюю волю нашего родного сыночка, Петеньки, -- говорили рыжими чернилами написанные строки. - А была та последняя его воля - передать вам, что кланяется до самой сырой земли и благодарит вас, что дали ему спокойно, на родной земле умереть. А прожил он с нами всего три часочка. В пять привезли к нам, а в восемь преставился к Господу. Еще всем нам и сельчанам сказал, что не изменой он попал в плен, а был ранен. Пишем вам, отец и мать,

что мы не пожалели никакого достатка, чтобы похоронить нашего Петеньку. Вся деревня его провожала. Всё было честно и за то спасибо Вам, что вернули его из чуждедальной стороны. И не усомнитесь, что мы его, как пострадавшего за Веру, Царя и Отечество, плохо похоронили. Похоронили честно и хорошо. Плакали горько, но не пожалели, что отдали его за Веру, Царя и Отечество» ...

## 8. В ПЛЕНУ ГОРДИЛИСЬ РОССИЕЙ И СВЯТО БЕРЕГЛИ ЕЕ ИМЯ

Солдаты умирали на чужбине. В плену было тяжело. Безрадостные вести шли с Родины. Их не понимали на Родине. Но к ней они тянулись. Ее боялись посрамить.

В 1915 году в России вышел приказ, чтобы семьям военнопленных выдавать паек в половинном размере. Приказ этот дошел и до лагерей военнопленных.

В лагере Кинермец, в Венгрии, был барак, где содержались только одни подпрапорщики и унтер-офицеры. При обходе этого барака к сестре подошел один из подпрапорщиков.

- Мы слышали, - сказал он, - что вышел приказ, чтобы лишить паши семьи пайка. Мы сражались до конца. Мы были ранены и оставлены на поле сражения. Не по своей вине мы попали в плен. Мы и сейчас готовы здесь умереть и умрем все, была бы только победа. Мы просим вам похлопотать, чтобы жены наши не страдали безвинно.

- Напишите прошение, - сказала сестра. - Я еще пробуду часа два в лагере. Перед отъездом я зайду к вам за прощением. Я доставлю его, куда надо.

Когда сестра зашла в барак, ее встретил тот же подпрапорщик.

- Прощение мы, сестрица, написали, а только взяло нас сомнение, отдавать ли его или нет?

- Почему же нет?

- А что, увидит наше прошение австрийское правительство?

- Да, все бумаги у меня будут осматривать. Вы сами понимаете, что иначе нельзя.

- Так мы решили, что тогда и прошение порвать. Нам будет очень неудобно, если враги наши узнают, что Россия не заботится о женах тех, кто за нее же сражается. Нехорошо, если через нас или жен наших будут худо думать о России. Пускай и жены наши за Россию за одно с нами погибают.

## 9. ДЛЯ СОЛДАТА ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ РОССИЯ БЫЛА ЕДИНАЯ

Широкое чувство любви и уважения к России было общим для всей массы русских солдат-военнопленных, без различия национальностей. Россия была действительно, а не на словах - великая, единая и неделимая. Вся масса русских солдат составляла единую Императорскую Русскую Армию.

Австрийско-германское командование, заинтересованное в раздроблении России и порождении розни между народами, составляющими Русскую Империю, тщательно выделяло в особые лагеря поляков, украинцев и мусульман.

Когда сестра подъезжала к одному из таких лагерей, сопровождавший ее австрийский офицер спросил, говорит ли она по-польски?

- Я не знаю польских солдат. Я знаю только одну русскую армию, и в ней всякий солдат - русский солдат. Я буду здороваться по-русски.

Но вопрос этот смутил сестру. «Неужели, - думала она, - немцы успели так распропагандировать солдат, что они забыли Россию и отвернутся от меня, когда я им заговорю о России».

Во избежание чего-либо тяжелого для русского самолюбия, сестра решила быть сдержанной и изменить форму своего обычного приветствия - поклона от Матушки-России.

У лагеря, в строгом войсковом порядке, были выстроены солдаты. Они были чисто одеты. Все сохранили свои полковые погоны и боевые кресты и медали.

Когда сестра подошла к фронту, раздалась громкая команда:

- Смнр-рна... Равнение направо.

Сотни голов повернулись на сестру.

- Вольно, - сказала сестра и пошла по фронту. Дойдя до середины строя, сестра остановилась и сказала:

- Я очень рада навестить вас и низко кланяюсь вам, так много пострадавшим. Вся ваша земля занята противником. Много горя выпало на долю ваших семей. Но Бог не без милости. Я верю, что скоро будет день и час, когда враг будет изгнан из родной нашей земли.

Сестра не успела договорить, как правый унтер-офицер громко крикнул:

- Государю Императору - ура! По польскому лагерю загремело перекатами русское "ура" и сестра поняла, что опасения ее были неосновательны, что польских солдат не было, что перед нею были императорские русские солдаты.

Она шла по лагерю, расспрашивала солдат о их нуждах и, когда собралась уезжать, они все столпились вокруг нее.

- Хотя нас и заперли в польский лагерь, - говорили ей пленные, - и "рекламации" нам давали, мы остались верными Царю и Родине. Мы очень счастливы, что вы нас навестили, и скажите в России, что мы своего долга как русские солдаты не забыли.

\*\*\*

Император Вильгельм собрал всех пленных мусульман в отдельный мусульманский лагерь и, заискивая перед ними, построил им прекрасную каменную мечеть.

Я не помню, кто именно был приглашен в этот лагерь, кому хотели продемонстрировать нелюбовь мусульман к русскому «игу» и их довольство германским пленом. Но дело кончилось для германцев плачевно. По окончании осмотра образцово содержанного лагеря и мечети, на плацу было собрано несколько тысяч русских солдат мусульман.

- А теперь вы споете нам свою молитву, - сказала осматривающее лицо. Вышли вперед муллы, пошептались с солдатами. Встрепенулись солдатские массы, подравнялись и тысячеголосый хор, под немецким небом, у стен только что отстроенной мечети дружно грянул:

- Боже, Царя храни...

Показывавший лагерь в отчаянии замахал на них руками. Солдаты по своему поняли его знак. Толпа опустилась на колени и трижды пропела русский гимн! Иной молитвы за Родину не было в сердцах этих чудных русских солдат.

## 10. ОНИ СОБЛЮДАЛИ ПРИСЯГУ И ГОТОВЫ БЫЛИ НА СМЕРТНЫЕ МУКИ, НО НЕ ИЗМЕНЯЛИ НИ РОССИИ, НИ СОЮЗНИКАМ

Одно из самых тяжелых явлений жизни военнопленных было то, что вопреки Женевским и иным конвенциям, пленных заставляли работать на заводах, изготовлявших военное снаряжение, рыть окопы, т. е. делать то, против чего до всей глубины возмущались души простых русских солдат.

В том же лагере Кинермец, где подпрапорщики и унтер-офицеры отказались писать прошение об улучшении судьбы своих жен, один подпрапорщик во время беседы сестры с пленными вдруг громко крикнул:

- Смирно, все! Пусть Россия знает... Скажи в России всем... Скажи Царю-Батюшке, что мы остались верными долгу и солдатской присяге. Такой-то (он назвал фамилию и полк) был расстрелян за то, что не хотел рыть окопы на фронте союзников.

И сейчас же раздались голоса из солдатской толпы:

- Против союзников мы не можем тоже идти.

- Не пойдем и против союзников. Не нарушим своей присяги и своего долга.

- Сестрица, скажи, что нам делать? Заступись за нас. Нас посылают рыть окопы. Многие отказываются и через то погибают, другие, еще хуже, слабеют...

- Лучше жизнь свою положить, - говорила сестра, - но только не идти против совести.

И они отдавали свою жизнь.

В лагере Харт солдаты при обходе сестры, если видели, что за ними никто не следит, шептали ей:

- Сестрица, обязательно навести 17-й барак.
- Сестрица, добейся своего, а в 17-й барак непременно загляни.
- Сестрица, 17-й барак не забудь, там ужас что делается.

Когда были обойдены все бараки лагеря, сестра обратилась к сопровождавшему ее генералу. Это был тот самый генерал, который обещал всякую ее просьбу исполнить и относился к ней с особым уважением.

- Я хотела бы осмотреть и 17-й барак, - сказала ему сестра.

Генерал улыбнулся.

- Да, - ответил он, - тут есть барак, где сидят солдаты, заключенные до конца войны за упорное неповиновение властям. Туда никого не пускают. Ну, да уж пойдете. Что с вами делать?

Барака снаружи не было видно. Он был окружен высоким, выше его стен, деревянным забором. И забор этот подходил так близко к бараку, что казалось, будто барак поставлен в деревянный футляр. От этого сумрак был в бараке. Не светило в него солнце и было в нем сыро.

На нарах сидели солдаты. Поражало то, что все это были унтер-офицеры. Они были опрятно одеты, у большинства были Георгиевские кресты, у кого два, у кого три. Сестра попросила оставить ее одну с этими людьми. Просьбу ее исполнили.

За что вы сидите? - тихо спросила она. Из группы выделился унтер-офицер с тремя Георгиевскими крестами и стал рассказывать:

- Через некоторое время после того, как попали мы в плен, собрали нас сто человек унтер-офицеров и погнали неизвестно куда, потом мы разузнали - на итальянскую границу. Приказали рыть окопы... Мы отказались. Нас наказали. Подвешивали по часу и более и снова отдали приказ идти рыть окопы. Мы снова отказались.

Сказали, что против присяги не пойдём. Тогда вывели нас в поле и сказали, что через десятого расстреляют; построилась против нас рота солдат их с ружьями. Я старшим был. Скомандовал:

«Смирно! За Веру, Царя и Отечество... - и сказал переводчику: - пусть стреляют»... Нас увели. Не расстреляли, а стали опять мучить и подвешивать, и потом снова вывели и сказали, что если не станем рыть окопы, теперь всех до единого расстреляют. А было нас ровно сто человек. И вот стали из наших рядов выходить больные и слабые, которые, значит, заробели. Мы не смотрели на них. Тридцать пять человек их вышло малодушных, Бога и Царя позабывших. Нас шестьдесят пять осталось. Стояли мы, как каменные. На все решились. Богу помолились, чтобы принял нашу жертву. Опять командовали к расстрелу, но не расстреляли, а мучили и подвешивали к стене, а потом посадили нас отдельно сюда, лишили права писать письма и получать посылки, держат уединенно, никого к нам и нас никуда не пускают. Кормят - хуже нельзя. Одно слово - арестанты. Но мы рады, что так терпим. И нам ничего не нужно..

Другие унтер-офицеры стояли вокруг сестры, слушали рассказ своего старшего, многие плакали, но никто ничего не сказал, не возразил и ни о чем не спросил.

Они знали, что делали...

Когда сестра вышла из барака, просветилась она сама светом солдатского подвига и понимания присяги.

Сказала генералу:

- Генерал, я никогда ничего не просила у вас противозаконного. Я не пользовалась тем, что вы мне предоставили просить за пленных. Но вот теперь умоляю вас, - этих отпустить. Они не виноваты. Они исполнили только свой долг по присяге.

Генерал сказал:

Они свободны от ареста. Пойдите, выпустите их сами. Сестра вошла в барак.

- Вы свободны, - сказала она, - можете идти в общий лагерь к своим товарищам. Они сначала не поверили. Но вот по приказу генерала стали снимать и уводить часовых, раскрыли настежь ворота ограды. За ними толпились остальные пленные лагеря.

С глухим гомоном стали они собираться в полутьме барака, увязывали свои котомки. Столпились подле сестры, благодарили ее.

- Постарайтесь поддержать свое знамя, свою честь и дальше так же. Учите других, - сказала сестра.

- Постараемся. Они расходились по лагерю. Сильные духом, высокие ростом, стройные, мощные - русские унтер-офицеры! Сливались с серой толпой пленных и все-таки были видны. Счастьем исполненного долга сияли их просветлевшие лица.

\*\*\*

Было это в Моравии, под осень, на полевых работах. Партия военнопленных была небольшая, прочно сжившаяся, хозяева хорошие, мир и лад царили в ней. Темнело. Все вышли за дом проводить сестру. И как-то не могли расстаться - так хорошо говорили о России. Заходящее солнце посылало лучи на восток и в синей дымке тонули поля и леса. Казалось, что там такие же поля, такие же леса, та же Богом созданная земля, а было все там по-иному, было бесконечно, до слез, до печали на сердце, дорого.

Солдаты рассказывали о своем тяжелом житье в плену, пока не попали к помещику.

Рассказывали, кого расстреляли, кого замучили, кто от тоски умер.

Печален был их рассказ.

- Давайте, - сказала сестра, - споем молитвы. Они встали. Были среди них люди с хорошими голосами. Молитвы знали. В тихой осенней прохладе, тоскою звучали молитвенные напевы. Им вторил шелест позолоченных осенью листьев широкого каштана. Рождался из этих молитв печальник о земле Русской. Когда кончили петь, сестра стала прощаться с пленными и, так как их было немного, прощалась с ними за руку.

Один протянул ей ладонь, и сестра заметила, что на правой руке не было вовсе пальцев.

- Ты раненый? - спросила сестра. Раненый сконфузился.

- Нет.

- Да, как же. А пальцы-то где?

- Это я так, - и смутился еще больше. Тут стали товарищи сзади него говорить:

- Чего пужаешься... Расскажи... Сестра ведь... Худого ничего нет...

Стал он рассказывать.

- Как взяли в плен, послали меня на завод, поставили угольев в печь подкидывать. Работа нетрудная. Я молодой и сильный был. Подкидываю его день, подкидываю другой и стал задумываться, а что на этом заводе делают? Можно ли мне на нем работать? А не делаю ли я чего против присяги? И узнал: пули на союзников точат. Тогда я пришел и сказал: «Работать больше не буду. Это против присяги, а против присяги я не пойду». Стали меня подвешивать, так мучили, что кровь пошла из шеи и носа. Отправили меня в больницу, подлечили и опять на завод. Я опять отказался. Меня снова стали мучить. Ну я стерпел, отлежался в больнице, и снова меня послали на завод. Ну, я думаю: «Не выдержу, больно пытка тяжела. Ослабел я совсем. А не выдержу, стану работать - душу свою загублю». Иду, и тоска во мне сидит страшная. Самому на себя смотреть тошно. И как проходил двором, словно меня что-то толкнуло. Гляжу, топор лежит на чурбане возле дров. Стража отстала, один я почти был. Подошел я, перекрестился, взял топор в левую руку, правую положил на чурбан. И - «за Веру, Царя и Отечество», отхватил все пальцы. Теперь не стану работать. Не погублю своей души. За мучения совести не продам. Меня отправили в госпиталь, залечили руку и послали сюда, чем могу, одной рукой помогаю.

- Он, Петра-то, славный помощник, - раздалась голоса. - Он и одной рукой, а за ним и двумя не угонишься.

Тиха и проста была исповедь веры и преданности, как тих был мягкий осенний вечер. Солнце зашло. Прозрачные надвигались сумерки.

Я как-то спросил сестру:

- Вы посетили сотни лазаретов, лагерей и больниц. Вы видели десятки тысяч пленных, вы говорили им о Боге и Царе. Неужели ни разу не слышали вы никакого протеста? Мы знаем, что среди военнопленных велась противорусская пропаганда австро-германским командованием, что с его разрешения туда были пущены украинские агенты Грушевского и слуги III Интернационала, который

только что в Киентале и Циммервальде постановил, что поражение России в этой войне явилось бы благом для русского народа. Неужели их работа не имела никакого успеха, не оказала никакого влияния на эти сотни тысяч русских солдат?

Сестра задумалась.

- Да, - наконец сказала она, - я могу смело сказать, что все пленные были хорошо настроены, потому что на сотни тысяч посещенных мною пленных, я могу указать лишь два случая, где я была грубо прервана и оскорблена, когда начала говорить о Государе и Родине. В одном большом городе, в громадном госпитале, где в палате лежало несколько сот пленных и их койки стояли вдоль и поперек, загромождая проходы, где всюду я видела забинтованные головы, ноги на оттяжках, руки на перевязках, я раздавала образки, присланные пленным Императрицей. Когда я передавала привет от России и Государыни и сказала, что Государыня болеет их скорбями и болями и посылает им свое материнское благословение, - все, кто мог, встали и низко мне поклонились, но в это мгновение из дальнего угла палаты раздался исступленный, желчный, полный ненависти крик:

- Не надо нам ваших Царских образков и благословений. Лучше бы нас в России не мучали и кровь нашу не пили!

Все повернулись к кричавшему. Палата ахнула, как один человек, и притихла. Неподдельный ужас был на лицах раненых. В молчании я пошла вдоль коек, останавливалась у каждой, тихо говорила, давала образки. Мне пожимали руку, иные целовали и говорили: «Оставьте его... он сумасшедший... Он помешался от мук».

Тот, кто кричал, повернулся лицом к стене, закутался одеялом и лежал, не шевелясь. Я подошла к нему. Мне было очень трудно сесть к нему на койку и заговорить с ним. Но я все же опустилась на койку и заговорила:

- Не верю я, не верю, - сказала я, - чтоб ты мог отказаться от привета Родины и от Царского благословения. Не верю, чтобы ты мог забыть Россию и ее Царя...

Он быстро повернулся ко мне, слезы были в его глазах.

- Дайте мне образок, - порывисто воскликнул он. Я подала образок, он схватил меня за руку, стал целовать образ и вдруг громко зарыдал. Кругом раздались плач и рыдания. Вся палата переживала его страшные слова и приняла эти слова, как непередаваемый ужас дьявольского дыхания...

Другой раз, это было в 1916 году в Австрии, я обходила военнопленных в большом лагере. Они были построены по-ротно. Всюду я кланялась солдатам и говорила, что Россия-Матушка шлет им привет. И когда подошла к одной из рот, из рядов ее раздался выкрик:

- Не желаем мы слушать ваших приветов, лучше бы в окопах нас офицеры нагайками не били, посылая сражаться.

Меня поразило тогда сходство, почти одинаковость выкрика, точно протест был выработан по трафарету и кем-то подсказан как тут, так и там.

Я молча прошла мимо этой роты, и когда подошла к следующей, солдаты как-то особенно меня встретили, точно хотели всеми словами своими, вниманием ко мне, показать, что они не согласны с теми, кто отказался от Царя и России.

Во время войны, до революции - два случая на сотни посещений. Потом... Потом все переменялось. Они стали правилом. Для солдат, даже и в плену, стало как будто каким-то шиком богохульствовать, смеяться над Россией, отречься от Родины.

Но кажется мне, что, если и сейчас войти в красноармейское стадо и так вот тихо и сердечно сказать, как я тогда в госпитале сказала тому исступленному, о России, и ее замученном Царе, так же, как и они, терпеливо переносившим все муки плена и страшную кончину от рук палачей, сказать им о Боге, - зарыдают несчастные заблудшие и станут просить прощения...

\*\*\*

Права сестра... Храмы поруганные, церкви оплеванные, с ободранными иконами, полны народом... Чудеса идут по Руси. Ищет народ знамений Бога и находит. Уже целует невидимую руку, протянутую к нему с образком, рыдает и кается в прегрешениях.



Ждет Царя... Царя православного. Царя верующего, Царя, любящего народ свой, знающего его, Царя с чистым, незапятнанным именем и законного.

Народ давно сказал свое слово. И не только сказал и кровью полил, подвигами неисчислимыми подтвердил; мужественно отстоял его в чужой стране, в страшном плену, где мог заплатить за него и платил муками страшными и самой смертью.

И слово это: «За Веру, Царя и Отечество».

Им на могилу - не знаю, где их могила - им, так хорошо мне известным, хотя не знаю их имени, вернее - не помню, ибо слишком много их было и слаба человеческая память, особенно в изгнании... Им, бесчисленным, по всему свету рассеянным, кладу я свой скромный венок.

На нем цветы с их могил. Белые, в нежных лучах, ромашки, что растут при дороге, синие васильки, что синеют на русской ниве, ветром колышимой, и алые маки, на гибких стеблях, нежным пухом покрытых. Дорогие мне цвета - белый, синий и красный - что реяли в пустыне, что гордо шелестели на кормах кораблей в далеких, синих морях, и висели торжественно-спокойные по улицам родной столицы, при звоне церковных колоколов и пушечной пальбе в табельный день Царского праздника.

Мой скромный венок им – «Честью и Славою венчанным»...

## «ЯКО С НАМИ БОГ»

Это было очень, очень давно, в 1915 году, во время моего посещения пленных в Австро-Венгрии. Тогда еще Божией милостью была Императорская Армия. В госпиталях умирающие раненые. В лагерях, на полевых работах - все, как один, тянулись к своей Матушке России. Многие от одной тоски по ней умирали. Семья, деревни, села, церковь, поля и леса звали и звали их к себе... Но, что всего больше поражало - это их простая вера в Бога, их поразительная покорность воле Божьей и Православное величание Бога.

Сквозь весь этот мир чувств, страданий и молитвы снял для них тихий образ Царя-Батюшки. Все для них начиналось и кончалось им. Он был их Отец везде - в деревне, в бою, в ранении, в плену...

Ибо все добро, все счастье - все было от Бога и от Батюшки-Царя и могло только быть в России. В одном громадном здании, устроенном для лазарета, лежало много раненых, умирающих, выздоравливающих. Собрали и всех работающих пленных в этом городе. Сердце было залито их слезами, страданием, тоской и верой в Бога. Казалось, от этого исповедывания земля соединялась с небом в сердце человека.

Обход кончался, стемнело. Кто-то подошел ко мне попросить начальство разрешить спеть. «Хотим спеть Вам все, что чувствуем. Себя и Вас утешить на прощание»... Где-то задали тон - его передали по коридорам, палатам, лестницам... все замерло. И вдруг, где-то далеко, пронизывая и побеждая собою все, один чистый голос канонарха зазвенел «С нами Бог, разумеете языцы и покоряйтесь». И еле, еле слышно, все расширяясь, дивный хор запел: «Яко с нами Бог». Из другой палаты прозвучал малиновый голос канонарха: «Услышите до последих земли». А хор, как ангельские крылья, все выше и выше поднимал эти слова Великого Повечерия...

Спустилось на землю благословенное молчание, никто уже не мог говорить. Все безмолвно толпились у выхода, как вдруг это море людей упало на колени и запело:

«Боже Царя храни». Рыдание перебивало пение. В плену было запрещено петь гимн, за это строго наказывали. Но любовь и верность смели все законы войны. Австрийское начальство сняло головные уборы, они вытянулись и стояли смиренно... Склонились невидимые знамена перед великим признанием России.

*Октябрь 1923 года.*

Читайте редактируемый  
проф. Г. М. Солдатовым  
орган Общества  
Митрополита Антония  
журнал

**"ВЕРНОСТЬ"**

[www.metanthonymemorial.org](http://www.metanthonymemorial.org)

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви  
- с позиций Белой Эмиграции

**КАРЛОВЧАНИН**

Электронный официальный орган печати Западно-  
Европейской Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона  
Германа Иванова-Тринадцатого

[www.karlovtchanin.eu](http://www.karlovtchanin.eu)

Электронную книгу выпустил Д.И. Барма <http://antikominfo.livejournal.com/>  
Всех замеченных в ряде других изданий искажений текста в этой книге нет.

**Газета "НАША СТРАНА"**

[www.nashastrana.info](http://www.nashastrana.info)

Орган русской монархической  
мысли. Электронная версия до-  
ступна Вам на [www.nashastrana.info](http://www.nashastrana.info)

## Верным России

православный журнал [ВЕРНОСТЬ](#), вестник Западно-Европейской и  
Лионской Епархии РПЦЗ [КАРЛОВЧАНИН](#) и  
[старейшая газета русского белого Зарубежья НАША СТРАНА](#)

